

Борис Поплавский

Домой с небес

Москва
Книга по Требованию
2017

УДК 82-3
ББК 84
П57

Поплавский Б. Ю.

П57 Домой с небес / В. Вересаев. — М: Книга по Требованию, 2017. — 208 с.

ISBN 978-5-4241-3342-8

Проза Бориса Поплавского (1903 1935) явление оригинальное и значительное, современники считали, что в ней талант Поплавского «сказался даже едва ли не ярче, чем в стихах» (В. Вейдле). Глубоко лиричная, она в то же время насквозь философична и полна драматизма. Герои романов русские эмигранты, пытающиеся осмыслить свою судьбу и найти свое место на этой земле.

УДК 82-3
ББК 84

Содержание

I	5
II	15
III	34
IV	55
V	79
VI	101
VII	119
VIII	133
IX	155
X	181
КОММЕНТАРИИ ДОМОЙ С НЕБЕС	193

I

Je revai quejctais meffablement heurcux. mais sans aucune forme, sans univers, sans Moi, et ma filieere meme etait le Moi.

*Jean Paul*¹

Солнце вставало над городом. Спокойно и независимо осветило оно пустые улицы и верхние этажи домов, неуклонно и равномерно делало свое дело, проникая во все детали металлической архитектуры крыш, освещая бесчисленные листья тополей. Но и без предпочтения, осушая политые тротуары — и сквозь белый пар над паровозами, на виадукке, за монпарнасским вокзалом, — заигралось розовым, сияющим облаком.

Жизни еще не было; она еще была погружена в сон, куда солнце не проникало, только косо, сквозь занавески, освещая спящие тела, оттопыренные губы и великолепные неузнаваемые головы; в сон, где в унижительном хаосе физиологической мифологии докипали вчерашние обиды, отдавленные руки, съедобные ужасы, раскоряченные тела и деисусные страхи. Спокойно и безмятежно солнце распорядилось на улице, потому что, несмотря на хаос и невращению миров, снова возвращалось лето, спокойное и ослепительное. Многокрылое время пронеслось над знакомой группой мелодекламаторов предыдущего действия, и все они переменились в лице, и только Аполлон Безобразов, не живя, следственно, не старея, не страдая, следственно, ни в чем не участвуя, архаический и недоступный, продолжал путешествовать из конца в конец города, как змея, не спеша переползающая

¹ Мне снилось, что я несказанно счастлив, но лишен всякой формы, всякого мира, всякого Я и что единственной фильерой было Я. Жан Поль (*фр.*).

железнодорожные пути. Потом змея подолгу читала газету «Paris-Midi» и философию науки Фихте, на полях коей она вела свой незамысловатый монашеский дневник.

«Сегодня почти уже жарко, то есть совсем уже жарко. Город быстро пустеет, величественно успокаивается на солнце. С тех пор как я начал учиться на богословском факультете, я все больше наслаждаюсь физической близостью с тем, чему я больше всего морально далек... Дни опять идут без истории (*sans histoires*), между общежитием (подло-грустные глаза, тайно выпьем за сатану, нестерпимое пение вразброд с обязательным передразниванием... Россия, Россия... мать ее в душу), лекциями (где я, конечно, первый ученик) и библиотекой, — пешком, через весь город по солнечной стороне... То есть я хотел сказать, что каждый человек абсолютно в плену у своего сна о Боге...

Воздержание от судьбы... Да — жизнь живых есть непрерывное, неустанное совокупление с воздухом, белой дорогой, с сияющей чистотой стекла, с музыкой, с Богом. ...Ну ладно, надоело... Пока жизнь моя совершенно удобна, только выстаивать службы я не сразу научился; впрочем, медленное преодоление физически непереносимого всегда было для меня заветной целью. Есть без соли или писать левою рукой. И вообще — пошел в попы, а не в солдаты и не в ерники... Но чем же, вообще, заниматься дьяволу, которому люди и государства вовсе не интересны, если не Богом... Дьявол — самое религиозное существо на свете, потому что он никогда не сомневается, не сомневался в существовании Бога, целый день смотря на него в упор; но он — воплощенное сомнение касательно мотивов всего этого творения...

Мог ли Он не творить... или стихийное невоздержание сексуального воображения заставило Его... Но какую ценою... Ну ладно, начнется эта лекция когда-нибудь?

Май 1932 года» (Годы проходят, а А.Б. все тот же.) Олег и Бог играли в четыре руки на раскаленном рояле коричневой городской черепицы, и Олег уставал первым, а Бог еще долго продолжал, не уставая среди грозových облаков, и тогда Олег

только слушал, скребя голову, щурясь, кривясь на белое небо, нестерпимое для взора, хоть и без солнца, белое до боли.

Серый жаркий день, дождь идет в тумане, но снова высыхают мостовые и только изредка погромыхивает над домами. Жарко и сыро, лето без солнца... Как грустно тебе, Олег... У тебя тоже, как у всякого встречного на усталом, потном лице, та острая и постоянная безысходная летняя грусть оставшихся, оставленных в городе...

Да поезжай ты на него посмотреть, на это лето у моря, фотографиями коего полны иллюстрированные журналы, которые ты с независимым видом рассматриваешь на стене киоска! Повешено их великое множество, и на всех счастливые, грубые лица, счастливые загорелые тела у ослепительной воды... Да поезжай ты на него, на это тысячеликое море, и не стыдно ли тебе неосуществимо мечтать, разве ты мечтатель, онанист воображения... И снова дождь шумит на теплом асфальте и на ярко вымытой, жирной листве каштанов... Дождь, дождь, дождь...

Теперь ты один в кафе, все твои знакомые или разъехались, или отчаялись в твоём бессердечии, а сейчас они нужны тебе, ведь и ты человек, потому что и тебе больно... Ну так, значит, уезжай; не осуществил ли ты до сих пор решительно все, чего тебе хотелось, и не гордишься ли ты именно этим?.. А давно уже тебе так не хотелось прочь от этой теплой, дождливой, городской боли. Туда, к дикому, грубому, горячему морю, к диким, грубым, горячим, безысходно красивым женщинам на песке... Экзамены кончились... Уехать оказалось нетрудно ему, студенту и бойскауту, и сразу полегчало на душе, все вокруг стало покровительственно нравиться на прощанье, ибо так хорошо вдруг освободиться от подневольного, неискреннего сочувствия людям...

«Теперь, когда я уже достал эти 600 франков, ехать в лагерь мне уже не хочется...

Думаю, я сбегу в Тулоне с вокзала и один, наудачу, вылезу к морю где-нибудь в Бандоле, где так элегантно умирала Катерина Мэнсфилд. Пишу в поезде, слушая бесперерывочные,

жалко-веселые разговоры наших студентов, вдруг становящиеся необычайно громкими, едва поезд начинает останавливаться. Дождь давно перестал, и на перроне люди, которые непостижимо, на весь свой век останутся здесь, продают кофе в картонных банках и местные газеты... На рассвете я увижу Рону и что-то вроде гор... Спать не хочется... Сердце пусто, и до того неинтересно, что все внешнее воспринимается с благодарностью. Жадно впитываю в себя нелепые, не совсем мужские лица товарищей и бесконечно взрослые, архаические лица женщин, все это желтоватое, бесформенное, симпатичное, отвратительное русское мясо...

Поорав, устали, загрузили, нестройно, не в лад запели, перебивая друг друга, кое-как устроившись дружески, недружески приминая женщин, задремали. Тогда и я, отбив себе место, вышел в коридор и, высунувши голову в темноту, наслаждаюсь стремительно несущимся вихрем угольного воздуха, а иногда далеко впереди виден паровоз; яркое зарево вырывается из его трубы, мгновенно и прекрасно освещая деревья, столбы и облако дыма над поездом...

Когда я воротился в купе, свет в нем был уже потушен и напротив меня, в отсветах коридора, кряхтели-шевелились французы-молодожены, обнаглевшие в темноте до трогательности. Изолированные среди русских, они всю дорогу ели, озираясь, и безостановочно то застегивали, то расстегивали чехлы новеньких своих чемоданов, а в темноте я, не подавая виду, долго продолжал следить за своим первородным врагом, безгранично овладевшим ими, вместе с сонливостью вспоминаю, как где-то прочел в газете жалобу старого акробата, специалиста по летучей трапеции, на то, как трудно им находить партнеров, потому что только муж и жена или отец и дети одной крови хорошо без слов понимают друг друга, ибо он и дышат одним дыханием, суть одно дыхание универсального моря телесно-сексуальной музыки; и только я посреди них, как мертвое среди живого чудовище подавленной сексуальности, наслаждаюсь и гибну от свободы, света и чистоты.

Спящие молодожены продолжают принимать все более растительные формы, так что теперь уже и разобраться невозможно, где начинается и где кончается каждый из них, они включены друг в друга, склеены, спаяны и — через отказ от отдельного бытия, самостоятельности — наполнены теплой и богатой жизнью, и я, как дьявол со скалы, огромными глазами изумленья наблюдаю первую человеческую пару в земном раю, ибо у них есть деньги, а деньги всегда там, где жизнь.

Раздумывая об этом, я заснул и проснулся уже ярким днем, в то время, как поезд быстро скользил по низкому берегу широкой реки. Направо были горы и в них целые заброшенные города, наполовину высеченные в скале, с их полуразрушенными замками, и вскоре я впервые увидел море...

Так встретился я с морем, как будто от мужчины с его бесформенной угловатой тяжестью, от земли повернулся к женщине в ее ослепительном, дьявольском, сомнительном покое, ничего не помнящем, отражающем все. Поезд медленно полз по берегу зеркально гладкого лимана Etang de Berre,¹ откуда, как голуби с плеча Афродиты, грациозно и уверенно поднимались гидропланы, и что-то сияюще-отвратительное, архаическое и неумолимо прекрасное было в его оцепенелой лазурной спячке, и я понял, что мне придется бороться с морем и с сиянием моря, как некогда я боролся с женщиной и с сиянием ее тела во тьме ночей, а теперь среди бела дня, ибо то, что для сладострастной женщины есть совокупление с солнцем до горячего пота, до усталости, то для меня, чудовища подавленного сладострастия, есть любовь к морю.

В вагоне мы давно привыкли друг к другу, и при дневном свете он казался таким родным и знакомым, как дача, с которой завтра съезжать. Небо давно уже сияло безупречной голубизной, и вот наконец между розовыми корпусами фабрик, как синий луч, как дивное тело в разрезе античной дерюги, блеснуло оно, и около него огромными буквами было написано: „Briqueterie Centrale de Marseille“.²

¹ Озеро Берр (фр.).

² «Марсельский центральный кирпичный завод» (фр.).

Молодожены складывали чемоданы, вдруг остепенившись и всем существом показывая, что им-де есть куда податься, и запах разлитой жизненной силы в вагоне сменился запахом одеколона, в котором столько утра, молодости, счастья. Невольное радостное возбуждение, с которым бороться было невозможно, билось в висках, и все за окнами с почти непереносимой яркостью врезалось в утомленные за ночь глаза; повышенные светочувствительные от бессоницы, они досадовали на бесконечные туннели, выемки, задворки, палисадники, дачные станции, скрывающие море. Наконец поезд остановился около нескладного вокзала, полного загорелых джентльменов в белых брюках довоенного вида. Здесь следовало еще ждать полтора часа, но едва поезд снова тронулся, я устремился, заперся в клозете, куда яркость неба доходила, врывалась сквозь матовое стекло, и, скинув рубашку, принялся тревожно рассматривать себя в дрожащем зеркале — достаточно ли я натренирован, чтобы без позора появиться на пляже».

«Мир не может быть только мыслим Богом, ибо мысль не имеет протяжения и вся в восхищении открытия, но мир не может быть только воображением Бога, ибо воображенное необходимо подчинено воображающему и в нем не могло бы быть ни греха, ни свободы, ни искупления... Нет, мир должен быть сном Бога, раскрывшимся, расцветшим именно в момент, когда воображение перестало Ему подчиняться и Он заснул сном мира, потеряв власть, отказавшись от власти, и было в этом нечто от грехопадения звездного неба, вообразившего себя человеком, и, конечно, именно дьявол научил человека аскетизму, потому что любовь есть та самая сонливость — жизнь, которая сладостно усыпила Бога, а пробуждение от нее есть смерть одиночества и знания, в то время как жизнь есть гипнотическая жизнь, до слез принимаемая всерьез... Так снова здесь, на высоком берегу, над сияющей музыкой моря, я борюсь с тобою, о счастье мое, сон, любовь, жизнь; но как странно и сладко было бы сдаться, снова сделаться человеком, опять страдать... Как величественно холодны и оскорбительно умны те, кто разомкнули хотя бы на миг, на время огненный